

Тим
О'Брайен



Что они несли с собой

[рассказы]



Тим О'Брайен

Что они несли с собой

Серия «XX век / XXI век – The Best»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21124182
Что они несли с собой / Тим О'Брайен : АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-983286-7

Аннотация

Тим О'Брайен – американский писатель, политолог и журналист, лауреат Национальной книжной премии и множества других национальных и международных премий.

В 20 лет, прямо со студенческой скамьи, был призван в армию, чтобы отправиться служить во Вьетнам. Он пробыл всего год на этой войне – самый страшный год своей жизни, который, по собственному признанию писателя, оставил незаживающую рану в его сердце.

Позже, когда боль пережитого ужаса начала стихать, он начал писать об этой войне – так, как может писать лишь тот, кто под обстрелом вжимался в землю, пропахшую порохом и кровью, терял друзей, убивал и видел то, чего не должен видеть никто и никогда. Возможно, именно поэтому его поразительные в своей откровенности рассказы производят на читателя столь оглушительное впечатление.

Содержание

Что они несли с собой	5
Любовь	38
Точка зрения	42
На Рейни-Ривер	53
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Тим О'Брайен

Что они несли с собой

Парням из роты «Альфа» и, в частности, Джимми Кроссу, Норману Боукеру, Крысу Кайли, Митчеллу Сандерсу, Генри Доббинсу и Кайове, с любовью посвящается.

Признательность

Я благодарю Эрика Хансена, Раста Хилла, Камиллу Хейкс, Сеймура Лоуренса, Энди Маккиллопа, Ивана Набокова, Ле Рамиреса и, прежде всего, Энн О'Брайен.

Эта книга значительно отличается от любой другой, в которой речь идет о «поздней войне» или одном из ее эпизодов. Те, кто имеют такой же опыт, как у автора, сразу увидят ее правдивость, все же остальные читатели пусть знают, что это реальные события, описанные непосредственным их участником.

Андерсонвилльский дневник Джона Рансона

Что они несли с собой

Старший лейтенант Джимми Кросс нес письма от девушки по имени Марта, студентки предпоследнего курса колледжа Маунт-Себастиан в Нью-Джерси. Это были не любовные письма, но лейтенант Кросс не терял надежды, а потому хранил их в полиэтилене на дне рюкзака. Под вечер, после дневного марша, он выкапывал себе положенный по инструкции одиночный окоп, мыл руки водой из фляжки, разворачивал письма и, держа их кончиками пальцев, проводил последний светлый час, воображая себе разное. Например, романтические походы в Уайт-Маунтис в Нью-Гэмпшире. Иногда он облизывал клапаны конвертов, зная, что там прошелся ее язык. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы Марта любила его так, как любил ее он, но ее пространственные и веселые письма были совсем не о любви. Марта была девственницей, в этом лейтенант Кросс почти не сомневался. В колледже Маунт-Себастиан она изучала литературу. И она очень красиво писала про преподавателей и соседок по общежитию, про экзамены, про свое поклонение Чосеру и любовь к Вирджинии Вулф. Она часто цитировала стихи и никогда не упоминала о войне, разве что для того, чтобы сказать, мол, береги себя, Джимми. Письма весили 4 унции. Каждое было подписано: «С любовью, Марта», но лейтенант Джимми Кросс понимал, что «с любовью» – просто дань вежливости

и никак не означает того, о чем он мечтает. Когда спускалась ночь, он тщательно убирал письма в рюкзак. Медленно, чуть рассеянно, он вставал и ходил среди своих людей, проверял периметр, затем в полной темноте возвращался к себе в окоп, смотрел во мрак и размышлял: есть ли кто-нибудь там у Марты?

* * *

То, что они несли с собой, определялось по большей части необходимостью. К необходимому или почти необходимому относились ножи консервные и складные, «сухой спирт»¹, наручные часы, личный знак, репелленты, жевательная резинка, шоколадные батончики, сигареты, таблетированная соль, пакетики порошкового лимонада, зажигалки, спички, дорожные швейные наборы, военные платежные сертификаты², сухой паек и две или три фляги. Всё вместе – от 12 до 18 фунтов, в зависимости от привычек или скорости обмена ве-

¹ «Сухой спирт» – сухое горючее, топливо. На самом деле «сухой спирт» к спиртам не относится. «Сухой спирт» состоит из уротропина, спрессованного с небольшим количеством парафина.

² Военные платежные сертификаты были введены в вооруженных силах США после Второй мировой войны и предназначались для выплат денежного довольствия военнослужащим и гражданскому персоналу американской армии на оккупированных территориях и военных базах вне пределов США. По прибытии во Вьетнам военнослужащим полагалось всю долларовую наличность обменять на военные платежные сертификаты. Ими можно было расплачиваться в военных магазинах, армейских столовых и т. п.

ществ у конкретного солдата. Здоровяк Генри Доббинс нес дополнительные пайки: в особенности он любил консервированные персики в густом сиропе, да еще с фунтовым кексом³. Поклонник полевой гигиены Дэйв Дженсен нес зубную щетку, зубную нить и несколько кусков мыла, которые украл в одну из увольнительных на курорте в Сиднее. Тед Лейвендер, которому было страшно, нес транквилизаторы – потом, в середине апреля, под деревушкой Тхан Кхе он был убит пулей в голову. В силу необходимости и поскольку так предписывали устав и ПДИ⁴, они несли стальные каски, которые весили по 5 фунтов, включая подкладку и камуфляжную сетку. На себе они несли стандартные камуфляжные штаны и куртки. Некоторые несли нижнее белье. На ногах – тяжелые ботинки – 2,1 фунта. И Дэйв Дженсен нес три пары носок и баночку крема для ног «Доктор Шолл» на случай «траншейной стопы». Пока его не подстрелили, Тед Лейвендер нес 6 или 7 унций первоклассной травки, которая для него являлась предметом первой необходимости. Радист Митчелл Сандерс нес презервативы. Норман Боукер нес дневник. Крыс Кайли нес комиксы. Истовый баптист Кайова нес иллюстрированный Новый Завет, который подарил ему отец, преподававший в воскресной школе в Оклахома-Сити. Но на крайний случай Кайова нес в себе недоверие своей бабки к белому че-

³ Традиционный кекс, для приготовления которого берут равное (обычно фунт) количество всех четырех ингредиентов.

⁴ Постоянно действующая инструкция (SOP).

ловеку, а на поясе – охотничий нож деда. Всё продиктовано необходимостью. Поскольку местность была заминирована и полна противопехотных ловушек, согласно ПДИ каждый нес подбитый нейлоном бронежилет, который весил 6,7 фунта, но в жаркие дни казался гораздо тяжелее. Так как умереть тут можно было очень быстро, каждый нес по меньшей мере один индивидуальный перевязочный пакет, обычно в бандольере или заправив под ремень на каске, чтобы было легче достать. Из-за того, что ночи были холодными, а муссоны несли ливни, каждый нес зеленую брезентовую плащ-палатку, которую можно было использовать как дождевик или импровизированную палатку или расстелить на земле. Учитывая стеганую подкладку, весила плащ-палатка почти 2 фунта, но оправдывала себя на все сто. Например, в апреле, когда застрелили Теда Лейвендера, его завернули в его собственную плащ-палатку, потом в ней же несли через рисовое поле и в ней же подняли в вертолет, который унес его прочь.

* * *

Их называли пехотой или «хряками».

Выражение «с полной выкладкой» означало, что взваливаешь на себя все имеющееся снаряжение и еще сколько-то сверху, – так старший лейтенант Джимми Кросс тащил на закорках по джунглям и через болота свою любовь к Марте. «С полной выкладкой» – это не просто рюкзак и боепри-

пасы, а еще и ноша, которую несешь в себе. К «полной выкладке» относились, например, фотокарточки, которые были практически у всех и каждого.

В бумажнике старший лейтенант Кросс нес две фотографии Марты. Одна была цветным снимком, подписанным «с любовью», хотя он-то знал, что к чему. Марта стояла на фоне кирпичной стены. Глаза у нее были серые и спокойные, губы чуть приоткрыты, и смотрела она прямо в камеру. Иногда по ночам лейтенант Кросс задумывался: а кто же сделал снимок? Кросс знал, что у нее были поклонники; более того, он даже мог различить тень фотографа, наползающую на кирпичную стену. Вторая была вырезана из ежегодного альбома колледжа Маунт-Себастиан за 1968 год. Снимок – не постановочный, а случайный, на волейбольном матче, и Марта на нем наклонилась за мячом, руки вытянуты вперед, рот напряжен, в каждой черточке лица читается дух соперничества. Ни единой капельки пота. Белые спортивные шорты. По мнению Кросса, ноги у нее были точно как у девственниц, крепкие и гладкие. На фото левое колено согнуто, на него перенесен весь ее вес, составляющий чуть больше 117 фунтов. Лейтенант Кросс не забыл, как однажды коснулся этого левого колена. Он помнил темный кинотеатр, где крутили фильм «Бонни и Клайд», тогда на Марте была твидовая юбка, и во время финальной сцены, когда он коснулся ее колена, девушка повернулась и посмотрела на него так печально и серьезно, что он невольно убрал руку, но он всегда

будет помнить ощущение твидовой юбки и колена под ней и звук очереди, скосившей Бонни и Клайда, и как неловко это было, как медленно и тяжело. В тот вечер он поцеловал ее на прощание у двери общежития. Вот тогда, думал он, надо было быть смелее! Следовало подхватить ее, отнести в ее комнату, привязать к кровати и касаться того левого колена всю ночь напролет. Зря он не рискнул! Всякий раз, глядя на фотографии, он грезил о том, что еще мог бы предпринять...

* * *

Что они несли с собой, определялось отчасти званием, отчасти полевой специализацией.

Как старший лейтенант и командир взвода, Джимми Кросс нес компас, карту, справочник кодов, бинокль и пистолет сорок пятого калибра, который полностью заряженный весил 2,9 фунта. Он нес тактический фонарь-стробоскоп и ответственность за жизнь своих людей.

Радист Митчелл Сандерс нес PRC-25 рацию – убийственный груз – 26 фунтов с батареей.

Санитар Крыс Кайли нес брезентовый баул с морфином, плазмой, акрихином и хинином от малярии, бактерицидными пластырями, комиксами и всем, что положено нести медику, включая даже «M&M's», которые выдавал, когда рана была совсем скверной, – общим весом почти 18 фунтов.

Самый крупный во взводе и в силу того пулеметчик Генри

Доббинс нес М-60, который весил 23 фунта без снарядов, но почти всегда был заряжен. В дополнение Доббинс нес от 10 до 15 фунтов боеприпасов в патронных сумках и бандольерах на груди и за плечами.

И рядовые первого класса, и спецы четвертого класса оставались обычными «хряками», а потому несли стандартные винтовки М-16 с «прямым» газоотводом. Оружие весило 7,5 фунта незаряженное и 8,2 фунта с полным магазином на 20 патронов. В зависимости от различных факторов, например, от топографии и психологии, стрелки несли от 12 до 20 магазинов, зачастую в матерчатых патронных сумках или бандольерах, что добавляло 8,4 фунта минимум или 14 фунтов максимум. Если таковые имелись в наличии, несли комплекты для чистки М-16: поршни, стальные ершики и тюбики смазки, – всё это весило около фунта.

Некоторые «хряки» несли гранатометы М-79, каждый весил 5,9 фунта незаряженный, – сравнительно легкое оружие, если не учитывать боеприпасы, которые весили весьма существенно. Один патрон тянул на 10 унций. Как правило, тащили по 25 патронов. Но Тед Лейвендер, которому было страшно, нес 34 патрона, когда его подстрелили под Тхан Кхе, и рухнул под поразительной ношей – более 20 фунтов боеприпасов плюс бронежилет, каска, сухой паек, вода, туалетная бумага, транквилизаторы и прочее по мелочам, а также невзвешенный страх. Он свалился как подкошенный. Не было ни конвульсий, ни подергиваний. Кайова, который видел,

как это случилось, сказал, что было такое впечатление, будто упал камень или большой мешок с цементом... Просто бух и замер, не как в кино, когда мертвый мужик корчится, извивается ужом или подергивается. Совсем не так, заявил Кайова. Бедолага свалился. И всё. Было ясное утро середины апреля. Лейтенанта Кросса терзала боль вины. Он винил себя. Они сняли с Лейвендера фляжки и патронные сумки, всё самое тяжелое, и Крыс Кайли установил очевидное: мол, парень мертв; и Митчелл Сандерс сообщил по радиации, дескать, один американский солдат ПВБ – погиб в бою – и затребовал вертолет. Потом Лейвендера завернули в его плащ-палатку. Ребята отнесли его на сухое рисовое поле, установили защитный периметр и, рассевшись, курили травку мертвеца, пока не прилетел вертолет. Лейтенант Кросс держался в сторонке. Он мысленно рисовал себе гладкое молодое лицо Марты, думая, что любит ее больше всего на свете, больше своих людей, и теперь Тед Лейвендер мертв, потому что он так сильно ее любит и не может перестать о ней думать. Когда прибыла похоронная команда, взвод доставил Теда Лейвендера на борт. Потом они сожгли Тхан Кхе. Они шагали до сумерек, затем вырыли одиночные окопы, и той ночью Кайова все повторял и повторял: мол, это надо было видеть, как быстро это случилось, мол, бедолага рухнул, точно мешок с цементом. Бух, упал, – говорил он. Как мешок с цементом.

В дополнение к трем стандартным видам вооружения – М-60, М-16 и М-79 – они несли всё, что подворачивалось под руку: любое оружие или что угодно, что считалось подходящим средством убийства или выживания. В ту или иную минуту, в тех или иных обстоятельствах они несли М-14 и CAR-15, шведские «К» и пистолеты-пулеметы⁵, захваченные АКА-47 и китайские штурмовые винтовки, русские гранатометы РПГ-7 и карабины Симонова, «Узи» с черного рынка и «Смит и Вессон» 38-го калибра, легкие противотанковые гранатометы М72 и обрезы, штыки и дубинки, а еще пластиковую взрывчатку. Ли Странк нес пращу, он называл ее оружием последнего боя – на крайний случай. Митчелл Сандерс нес кастет. Кайова нес оперенный томагавк деда. Каждый третий или четвертый нес противопехотную мину «клеимор» – 3,5 фунта с детонатором. Все несли осколочные гранаты – по 14 унций каждая. Все несли как минимум по одной дымовой шашке М-18 весом в 24 унции. Кое-кто нес гранаты с CS⁶, то есть со слезоточивым газом. Некоторые несли белые фосфорные гранаты. Они несли все, что могли на себя взвалить, и еще пару фунтов сверху, включая

⁵ Имеются в виду автоматы 45-го калибра М3, бывшие на вооружении во время Второй мировой войны.

⁶ Хлорбензальмалондинитрил.

безмолвное благоговение перед ужасающей мощью того, что несли.

* * *

В первую неделю апреля, еще до того, как погиб Тед Лейвендер, Марта прислала старшему лейтенанту Джимми Кроссу талисман на удачу. Это был простой гладкий камешек, унция самое большее. Гладкий на ощупь, молочно-белый, с вкраплениями оранжевого и лилового, овальный, как крошечное яйцо. В сопровождающем его письме Марта писала, что нашла камешек на побережье в Джерси, там, где земля соприкасается с водой, нашла его в тот момент, когда прилив достиг пика, — в мгновение, когда стихии едины и одновременно разделены. Как раз мысль о единении и раздельности, отмечала она, подтолкнула ее подобрать камешек и несколько дней носить в нагрудном кармане, где он казался совсем невесомым, а потом послать его по почте, по воздуху, самолетом, как знак самых истинных ее чувств к нему. Лейтенант Кросс счел это романтичным, но невольно спрашивал себя, а каковы же ее истинные чувства к нему и что она имела в виду под «единением и раздельностью»? Он гадал, какую роль сыграл прилив в тот день на побережье в Джерси, когда Марта увидела камешек и наклонилась, чтобы спасти его от волн? Он воображал голые стопы Марты. Марта ведь поэтесса, с восприимчивостью и повадками поэтессы, и ноги

у нее наверняка загорелые и босые, ногти на ногах без лака, глаза ясные и серьезные, как океан в марте месяце, и, хотя это было мучительно, он задавался вопросом, кто был с ней в тот день? Он воображал, как пара теней скользит по полоске песка там, где стихии едины и одновременно разделены. Умом он понимал, что это фантомная ревность, но ничего не мог с этим поделать. Он так ее любил. На марше все те жаркие дни начала апреля он нес камешек во рту, поворачивал его языком, чувствуя на языке морскую соль и влагу. Мысли у него блуждали. Ему трудно было сосредотачиваться на войне. Например, он приказывал взводу выступать цепочкой по одному и держать глаза и уши открытыми, а сам проваливался во сны наяву и представлял себе, как босиком идет по побережью в Джерси, идет бок о бок с Мартой и ничего не несет. Он ощущал, что поднимается, взмывает куда-то, и кругом только солнце, волны и мягкий ветерок, сплошь любовь и легкость.

* * *

Что они несли с собой, разнилось от задания к заданию. Когда их забрасывали к горам, они несли москитные сетки, мачете, брезент и дополнительные репелленты. Когда миссия казалась особенно опасной или когда идти приходилось в некое место, где, как они заранее знали, дело обернется скверно, они несли всё, что могли. В некоторых

сильно заминированных районах, где земля полнилась «отрывателями пальцев»⁷ и «прыгающими Бетти»⁸, они по очереди тащили миноискатель весом 28 фунтов. Учитывая наушники и массивный датчик, прибор отчаянно давил на поясницу и плечи, был неудобен в транспортировке и зачастую бесполезен из-за шрапнели и осколков в земле, но они все равно несли его с собой, отчасти ради безопасности, отчасти ради иллюзии безопасности.

Отправляясь в засады или на прочие ночные задания, они несли странные или дурацкие мелочи. Кайова всегда брал с собой Новый Завет и мокасины, чтобы ступать беззвучно. Дэйв Дженсен захватывал витамины для остроты зрения с повышенным содержанием каротина, Ли Странк – свою пращу; он утверждал, что со снарядами с ней проблем не бывает. Крыс Кайли нес бренди и даже «M&M's». Пока его не подстрелили, Тед Лейвендер нес прибор ночного видения, весивший 6,3 фунта в алюминиевом футляре. Генри Доббинс нес колготки своей девушки, которые повязывал на шею как шарф. Все они несли своих призраков. Когда спускалась тьма, они, ступая друг за другом, выдвигались через луга и рисовые поля на заданные координаты, где тихонько

⁷ Американская противопехотная мина нажимного действия с химическим механизмом дезактивации BLU-43/B.

⁸ Немецкая противопехотная осколочная мина кругового поражения времен Второй мировой войны. Прозвище «прыгающая Бетти» получила от американских солдат, участвовавших во Второй мировой. Русские саперы и современные копатели называют такие мины «лягухами».

закладывали «клејморы» и сами залегали, чтобы провести ночь в ожидании.

Случались задания посложнее, которые требовали специального снаряжения. В середине апреля они получили задание разыскать и уничтожить комплекс подземных туннелей в районе Тхан Кхе к югу от Чу-Лай. Чтобы взорвать туннели, они несли с собой однофунтовые брикеты пентрита – по четыре на каждого, всего 68 фунтов. Они несли провода, детонаторы и батареи. Дэйв Дженсен нес беруши. Как правило, они получали приказ от далекого верховного командования обыскать перед взрывом туннели. Ничего доброго это не сулило, но обычно они просто пожимали плечами и выполняли. Из-за своих габаритов Генри Доббинс был избавлен от этой обязанности. Остальные тянули жребий. До того, как погиб Лейвендер, во взводе было 17 человек, и тот, кто вытягивал номер 17, снимал снаряжение и головой вперед, с фонариком и пистолетом сорок пятого калибра лейтенанта Кросса, лез под землю. Остальные расходились для охраны. Они сидели на корточках и стояли на коленях, не глядя на отверстие туннеля, но прислушиваясь к звукам из-под земли, воображая паутину и призраков, или что еще там внизу... как сдвигаются стенки туннеля... как фонарик в руке становится невероятно тяжелым... и как возникает узкое в прямом смысле этого слова поле зрения, давящее ощущение со всех сторон, мучительное время... как приходится извиваться, пока ползешь, отталкиваясь от стенок локтями и

бедрами... чувство, что тебя проглотили... и как ловишь себя на том, что дергаешься из-за неотвязных мыслей... Вдруг фонарик погаснет? А от крысиных укусов бывает столбняк? Если закричишь, то как далеко разнесется звук? Ребята тебя услышат? У них хватит смелости тебя вытащить? Оставшиеся порой переживали больше ушедшего. Воображение обладает убийственной силой.

Вытянув 16 апреля номер 17, Ли Странк рассмеялся, пробормотал что-то себе под нос и быстро спустился. Утро выдалось жаркое и очень тихое.

– Плохо дело, – вздохнул Кайова. Он посмотрел на жерло туннеля, потом на высохшее рисовое поле, за которым лежала деревня Тхан Кхе. Все было тихо. Ни облаков, ни птиц, ни людей. В ожидании пехотинцы курили, пили разведенный лимонад, по большей части молчали, преисполненные сочувствия к Ли Странку, а еще – ощущения собственной удачи.

– Один выигрывает, другой проигрывает, – сказал Митчелл Сандерс, – а третий ждет, чтобы матч отменили из-за дождя.

Шутка была избитая, и никто не рассмеялся.

Генри Доббинс жевал шоколадный батончик. Тед Лейвендер забросил в рот таблетку и пошел отлить.

Через пять минут старший лейтенант Джимми Кросс подполз к туннелю и, сунув голову внутрь, стал изучать темноту. Беда, подумал он. Может, обвал? А потом внезапно, сам

того не желая, вспомнил о Марте. Хруст, оползень, и вот они уже вдвоем заживо погребены под толщей земли. Теснота, мрак, любовь. Стоя на коленях, всматриваясь в черное жерло, он старался сосредоточиться на Ли Странке и на войне, на всех ее опасностях, но любовь накрыла его с головой, точно парализовала его, ему хотелось дышать легкими Марты и вдыхать ее кровь, чтобы задохнуться. Он хотел, чтобы она была девственницей и не была девственницей, – всё сразу. Он хотел ее знать. Знать самые сокровенные тайны. Почему поэзия? С чего вдруг такая печаль? Откуда такая серость в глазах? Почему все время одна? Не одинока, а просто одна – едет на велосипеде по дорожке, сидит в кафе и даже танцует. Да, она и танцевала одна. И как раз эта отрешенность наполняла его любовью. Он вспомнил, как однажды вечером сказал ей об этом, а она кивнула и отвела взор. Тогда он поцеловал ее, она позволила, но не ответила на поцелуй, взгляд ее широко открытых глаз не был ни девственным, ни испуганным, просто спокойным и отстраненным.

Лейтенант Кросс уставился в туннель. Но мыслями он был не там. Он был погребен с Мартой под белым песком на побережье Джерси. Они были притиснуты друг к другу, и камушек у него во рту – это ее язык. Он улыбался. Он смутно сознавал, как тих день, как угрюмы поля, но не мог заставить себя тревожиться из-за возможной угрозы. Он был вне этого. Он был просто парнем на войне, влюбленным парнем. Ему было двадцать четыре года. Он ничего не мог с собой

поделать.

Несколько минут спустя из туннеля появился Ли Странк. Вылез он, ухмыляясь, – грязный, но живой. Лейтенант Кросс кивнул и закрыл глаза, а остальные хлопали Странка по спине и шутили, дескать, он восстал из мертвых.

– Червь, – сказал Крыс Кайли. – Прямиком из могилы. Чертов зомби.

Солдаты смеялись. Все испытывали огромное облегчение.

– Город призраков, – обронил Митчелл Сандерс.

Ли Странк изобразил шутовской призрачный звук, эдакий псевдостон, но очень счастливый.

И как раз когда Странк издал этот тоненький счастливый стон, когда он завел свое «У-уу...», в этот самый момент Тед Лейвендер схлопотал пулю в голову, возвращаясь с того места, куда ходил отлить. Тед Лейвендер лежал с открытым ртом. Зубы у него были выбиты. Под левым глазом набухла чернота. Скулу разворотило.

– О черт, – пробормотал Крыс Кайли, – парень мертв... Парень мертв, – все повторял он, словно его только что озарило, – парень мертв...

Ну, взаправду, мертв.

* * *

То, что они несли с собой, до некоторой степени определялось суеверием. Лейтенант Джимми Кросс нес свой ка-

мушек на счастье. Дэйв Дженсен нес кроличью лапку. Норман Боукер, обычно человек очень мягкий, нес большой палец, который подарил ему Митчелл Сандерс. Палец был темно-коричневый, резиновый на ощупь, и весил самое большее 3 унции. Палец срезали с трупа вьетнамца, мальчишки лет пятнадцати или шестнадцати. Труп они нашли на дне оросительного канала, обгоревший, во рту и в глазницах – мухи. На мальчишке были черные шорты и сандалии. Его убили, когда он нес мешочек риса, винтовку и три магазина патронов.

– Если хочешь знать мое мнение, – сказал Митчелл Сандерс, – тут определенно есть мораль.

Он положил руку на запястье мертвого мальчишки. Какое-то время он молчал, точно считал пульс, потом похлопал – почти нежно – труп по животу и при помощи томагавка Кайовы оттяпал ему большой палец.

Генри Доббинс спросил:

– В чем тут мораль?

– Какая мораль? – не понял Сандерс.

– Ну, сам знаешь. *Мораль*.

Завернув большой палец в туалетную бумагу, Сандерс отдал его Норману Боукеру. Крови не было. Улыбнувшись, он ногой пнул мальчишку в голову, посмотрел, как разлетелись мухи, и обронил:

– Ну, это как в том старом телешоу – «Паладин». Есть ружье – готов путешествовать.

Генри Доббинс задумался.

– Ну да, – наконец произнес он. – Я все равно морали не вижу.

– Да вот же она, мужик.

– А пошел ты.

* * *

Они несли с собой выданные ОООВСом⁹ карандаши и ручки. Они несли английские булавки, разного рода сигнальные ракеты, мотки провода, бритвенные лезвия, жевательный табак, конфискованные палочки благовоний и статуэтки улыбающегося Будды, свечи, номера военно-полевой газеты «Звезды и Полосы», щипчики для ногтей, пропагандистские листовки, панамы, длинные кривые ножи и многое другое. Дважды в неделю вертолеты снабжения приносили в своих брюхах горячую жратву в зеленых баках и огромные брезентовые мешки с холодным пивом и банками содовой. Они несли пластиковые канистры с водой, на два галлона каждая.

Митчелл Сандерс нес накрахмаленную камуфляжную форму для особых случаев. Генри Доббинс нес жидкость от насекомых «Блэк Флэг». Дэйв Дженсен нес пустые мешки,

⁹ Объединенные организации обслуживани/я вооруженных сил (USO) – независимое объединение добровольных религиозных, благотворительных и других обществ по содействию вооруженным силам США, основаны с намерением морально поддержать сражающихся солдат, «создать для них дом вне дома».

которые по вечерам наполнял песком для дополнительной защиты. Ли Странк нес крем от солнца. Кое-что они несли сообща. Поочередно они тащили большую рацию модели PRC-77, которая с батареей весила 30 фунтов. Они несли общий груз воспоминаний. Они взваливали на себя то, что другие уже не могли выносить. Часто они несли друг друга, раненых или слабых. Они переносили инфекции. Они несли доски для шахмат, баскетбольные мячи, вьетнамско-английские словарики, армейские знаки различия, «бронзовые звезды» и «пурпурные сердца», пластиковые карточки с выбитым на них уставом. Они переносили заболевания, в том числе малярию и дизентерию. Они несли вшей и ленточных червей, пиявок и водоросли, грязь и мусор. Они несли саму страну Вьетнам – его землю, оранжево-красную пыль, которая покрывала их ботинки, одежду и лица. Они несли небо. Они несли саму атмосферу, они несли в себе ее влажность и ее муссонные ливни, вонь плесени, грибка и разложения. Они несли само земное притяжение.

Они двигались, как выючные мулы. Днем они сносили снайперский огонь, ночью их накрывало артобстрелами, но главным был не бой, а бесконечный марш, от деревни к деревне, без смысла, без цели, ничто не завоевано, ничто не потеряно. Они шли маршем ради самого марша. Они брели вперед, медленно, тупо, обливаясь потом по жаре, бездумно, сплошь кровь и кости – простая пехота, которую ноги кормят, вверх по холмам, вниз на рисовые поля, шаг, снова

шаг, без воли и без желания, как заведенные, одна чистая анатомия. Война определялась выносливостью и силой, умением таскать груз, механической инерцией, она стала разновидностью пустоты, лишенной желаний, ума, совести, надежды, человеческих чувств. Их принципы были у них в ногах, их расчет – биологическим. У них не было ощущения ни стратегии, ни миссии. Они обшаривали деревни, не зная, чего ищут. Равнодушные, они переворачивали горшки с рисом, обыскивали детей и стариков, взрывали туннели, иногда поджигали дома, а иногда нет, затем строились в цепочку по одному и шли в следующую деревню, потом – в другие деревни, где всегда было и будет одно и то же.

Они несли собственные жизни. На них чудовищно давили погода и стресс. На послеполуденной жаре они снимали каски и бронежилеты, шли налегке, что было опасно, но помогало сбросить напряжение. Часто на марше они от чего-то избавлялись. Удобства ради, они выкидывали сухие пайки, подрывали гранаты и «клеиморы» – наплевать, ведь к ночи вертолеты привезут еще, а потом пару дней спустя еще и еще: свежие арбузы и ящики с боеприпасами, солнечными очками и шерстяными свитерами... Неистощимость ресурсов поражала: фейерверки на четвертое июля, крашеные яйца на Пасху. Это же великий американский военный бюджет: дары науки и конвейеров, консервных заводов и арсеналов Хартфорда, лесов Миннесоты и бескрайних полей пшеницы и кукурузы... Всё это они несли, как грузовые поезда. Они несли

это на своих спинах и плечах, и при всех двусмысленностях Вьетнама, при всех его загадках и переменных, неизменно оставалась как минимум одна непреложная истина: им вечно будет что нести.

* * *

Когда вертолет унес Лейвендера, старший лейтенант Джимми Кросс повел свой взвод в деревню Тхан Кхе. Они сожгли все. Они стреляли по курам и собакам и саму деревню разнесли по камешкам, они вызвали артиллерию и смотрели на погром, а после маршировали несколько часов по полуденному зною, и потом, в сумерках, пока Кайова в сотый раз пересказывал, как умер Лейвендер, лейтенант Кросс поймал себя на том, что его бьет дрожь.

Он старался не плакать. Саперной лопаткой, которая весила 5 фунтов, он начал копать яму в земле.

Он испытывал стыд. Он ненавидел себя. Он любил Марту больше, чем своих людей, и в результате Лейвендер теперь мертв, и ему придется носить эту тяжесть до конца войны.

Он только и мог что копать. Он орудовал саперной лопаткой как топором, резал и рубил, переполняемый любовью и ненавистью, а затем, когда уже совсем стемнело, он сидел в своем окопе и плакал. Так продолжалось довольно долго. Отчасти он горевал по Теду Лейвендеру, но в основном по Марте и по себе самому, потому что Марта принадлежала

к иному миру, который был сейчас не вполне реальным, потому что она училась на предпоследнем курсе в Маунт-Себастиане в Нью-Джерси и была поэтессой и девственницей, безучастной, и потому, что он осознал, что она его не любит и никогда не полюбит.

* * *

– Как мешок с цементом, – шептал в темноте Кайова. – Богом клянусь – бух, упал. Ни слова...

– Я уже слышал, – буркнул Норман Боукер.

– Вот придунок, скосили его, ширинку застегнуть не успел.

– Ладно, понял. Хватит.

– Да, усек, но это надо было видеть. Парень просто...

– Да, я слышал. Цемент. Может, наконец, заткнешься?

Кайова печально покачал головой и глянул на яму, в которой лейтенант Джимми Кросс сидел, уставившись в ночь. Воздух был густым, тяжелым и влажным. Теплый плотный туман накрыл рисовые поля, стояла тишина, предшествующая дождю.

Некоторое время спустя Кайова вздохнул.

– Одно ясно наверняка, – произнес он. – Лейтенанту сейчас хреново. Я про то... ну, как он разнюнился... никак не уймется, это не лажа... он не придуривается, ему правда хреново. Ему не плевать.

– Ага, как же, – фыркнул Норман Боукер.

– Говори, что хочешь, мужику не плевать.

– У всех свои проблемы.

– Не у Лейвендера.

– Пожалуй, нет, – отозвался Боукер. – Но сделай мне одолжение...

– Заткнуться?

– Умный индеец. Заткнись.

Пожав плечами, Кайова стащил ботинки. Он бы не отказался поговорить еще, может, тогда будет легче уснуть, но вместо этого он открыл свой Новый Завет и пристроил себе под голову как подушку. Туман лишил все вокруг смысла и связи. Кайова постарался не думать про Теда Лейвендера, но все равно думал о том, как быстро все случилось: никакой драмы, упал и мертв, и как трудно чувствовать что-либо, кроме удивления. Это... как-то не по-христиански. Он пожалел, что не в силах найти в себе великой скорби или хотя бы гнева, но эмоций просто не было, и он не мог их вызвать. По большей части он радовался, что жив. Ему нравился запах Нового Завета под щекой: кожа и типографская краска, бумага и клей, какая бы ни была в них химия. Он наслаждался звуками ночи. Даже усталость была приятной: натруженные мускулы и зудящее тело, ощущение парения перед сном. Он был счастлив, что не погиб. А еще Кайова восхищался способностью лейтенанта Кросса испытывать вину. Ему хотелось разделить его боль, хотелось проявлять участие, как

проявлял его Джимми Кросс. Но, закрыв глаза, он мог размышлять только про бух и упал и испытывать лишь удовольствие, что снял ботинки, что вокруг него завивается туман, а под ним сырая земля, что его окутывают запахи Библии и мягкая отрада ночи.

Минуту спустя Норман Боукер сел в темноте.

– Какого черта, – сказал он. – Хочешь поговорить, так говори. Расскажи мне.

– Забудь.

– Нет, старик. Если я что и ненавижу, так это молчащих индейцев.

* * *

Обычно они сохраняли выдержку и достоинство. Но иногда случались приступы паники, когда они кричали или хотели, но не могли закричать, дрожали, плакали, закрывали руками голову, всхлипывая «Господи Иисусе», валились на землю, палили в божий свет как в копеечку, сходили с ума, давали себе, Богу, родителям неисполнимые клятвы, только бы уцелеть. Так или иначе, это бывало с каждым. После, когда стрельба стихала, они смаргивали и выглядывали из укрытий. Они касались своих тел, испытывая стыд и поспешно его пряча. Они заставляли себя встать. И словно в замедленной съемке, кадр за кадром, мир обретал прежние очертания и звуки: абсолютная тишина, потом ветер, потом сол-

нечный свет, потом голоса. Таково бремя бытия живого человека.

Они неловко приходили в себя, сбивались в группки и опять превращались в солдат. Они тайком утирали лбы, носы и глаза. Они проверяли, нет ли погибших или раненых, они вызывали «стрекоз» и похоронные команды, курили, силились улыбнуться, прокашливались, сплевывали и начинали чистить оружие. Некоторое время спустя кто-нибудь качал головой и говорил, надо же, я едва не обделался, а другой смеялся, что означало, мол, да, скверно, но парень же явно не обделался, а значит, не так уж и скверно, и вообще никто бы не сделал такого, а потом еще об этом и рассказал бы.

Они шурились на густой и давящий солнечный свет. Несколько минут они молчали, закуривали один на всех косяк и смущенно передавали его по очереди.

В какой-то момент один из них говорил:

– Жуткая история.

И другой отвечал ему, ухмыляясь и подняв брови:

– Ага. Мне чуть новую дырку в заднице не пробуравили.

Еще бы немного...

Подобное позерство встречалось сплошь и рядом. Одни несли в себе тоскливую покорность, другие – гордость или жесткую солдатскую дисциплину, юмор или энтузиазм мачо. Они боялись умереть, но еще больше боялись выдать свой страх.

Они придумывали анекдоты и шутки.

Они прибегали к цинизму, к бездушным словам, чтобы скрыть постыдную слабость. «Завалили», – говорили они, а еще: «скосили», «застегнули» или «прикончили». Это было не бессердечие, а игра на публику. Они были актерами. Когда кто-нибудь погибал, дело не ограничивалось просто смертью, ведь гибель входила, так сказать, в правила игры, а так как роли свои они почти что выучили, то ирония смешивалась с трагичностью. Они презирали смерть и потому давали ей прозвища. Они пинали трупы. Они отрезали большие пальцы. Они болтали на армейском жаргоне. Они травили байки про запас таблеток Теда Лейвендара, дескать, бедолага так закинулся, что даже ничего и не просек.

– Тут есть мораль, – произнес Митчелл Сандерс.

Дожидаясь вертолета, летевшего за Лейвендером, они курили его травку.

– Мораль вполне очевидная, – добавил Сандерс и подмигнул. – Держись подальше от наркоты. Без шуток, она враз тебя жизни лишит.

– Круто, – сказал Генри Доббинс.

– Башку сносит, сечешь? Вот сам посмотри. От нее ничего, кроме мозгов да слизи, не осталось.

Они заставляли себя смеяться.

«Круто», – говорили они. Опять и опять, вот так-то, как будто повторение само по себе помогало сохранять равновесие, балансировать между безумием и почти безумием, знанием и предсказанием, вот так-то, то есть не горячись, утро

вечера мудренее, ведь все равно ты ничего не можешь изменить, вот так-то, безусловно и безнадежно так.

Они и сами были крутые.

Они несли с собой все мысли и чувства человека, знающего, что смерть рядом. Горе, ужас, вина, тоска – всё это было нематериальным, но нематериальное имело собственную массу, оно имело вполне материальный и очень даже существенный вес. Они несли постыдные воспоминания. Они несли общую тайну – едва сдерживаемую трусость, инстинктивное желание бежать, замереть или спрятаться, и во многом это была самая тяжкая ноша из всех, потому что ее не сбросить, потому что она требовала идеального равновесия и идеальной игры и позерства. Они несли в себе величайший страх солдата, а именно страх покраснеть. Убивать, погибать – это все в порядке вещей, лишь бы только не оставливаться.

Вот что изначально привело их на войну: не высшие ценности, не мечты о славе или чести, а просто желание избежать краски стыда и бесчестья. Они умирали, чтобы не умирать от неловкости. Они заползали в туннели и наступали под огнем. Каждое утро, невзирая на неизвестность впереди, они шаг за шагом переставляли ноги. Они проходили через все испытания. Они тащились и тащили. Они не позволяли себе очевидную альтернативу – просто закрыть глаза и упасть. Так просто на самом деле... Обмякнуть и рухнуть на землю и дать расслабиться мышцам, не говорить и не ше-

велиться, пока ребята не подберут тебя и не положат в вертолет, который взревет, задерет нос в небо и унесет тебя в большой мир. Просто упасть... Но никто никогда не падал. Удерживала не храбрость, не доблесть. Удерживал страх трусости.

В общем и целом они несли все это внутри, нацепив маску циничного веселья и невозмутимости. Они потешались над увольнительными по болезни. Они с горечью обсуждали тех, кто нашел лазейку к свободе, отстрелив себе пальцы на руках или ногах. Слабаки, хмыкали они. Мягкотелые. Они говорили грубо, с издевкой и не без толики зависти, а тем временем в голове у них крутились картинки...

Они воображали прикосновение дула к коже... Так просто... Нажми на курок и отстрели себе палец на ноге. Они это себе рисовали. Миг сладкой боли, потом – эвакуация в Японию, за ней – госпиталь с теплыми кроватями и симпатичными медсестричками-гейшами.

Они видели сны о «птицах свободы»¹⁰.

По ночам на посту, всматриваясь в темноту, они в мечтах уносились на гигантских самолетах, они чувствовали головокружение взлета. «Сбежали!» – мысленно кричали они. Возрастает скорость, гудят моторы, подрагивают крылья, улыбается стюардесса... Но это не просто самолет, это настоящая птица, огромная гладкая серебряная птица с пе-

¹⁰ Армейский сленг для обозначения чартерных самолетов, на которых возвращались в США военные, служившие за пределами страны.

рьями и когтями и громким воплем. Они летели. Бремя спадало: больше нечего нести, больше нечего выносить. Они смеялись и держались изо всех сил, чувствуя, как хлещет в лицо ветер. Они парили, думая: «Все кончено, мы свалили!» Они были нагие и свободные, окрыленные легкостью, быстротой, светом, забывшие, что такое тяжесть, наполненные гелием, с гулом в голове и лопающимися пузырями в легких...

А птицы несли их, несли над тучами и над войной, уносили за пределы долга и гравитации, смерти и глобальных конфликтов. «Син лой!»¹¹ – оралли они. – Простите меня, ублюдки, но я свалил, оставайтесь с носом, я в космосе, меня уже нет!» Опьяняющий безудержный восторг – просто качаться на волнах света, лететь на большой серебряной «птице свободы» над горами и океанами, над Америкой, над фермами и спящими городами, над кладбищами и автотрассами, и над золотыми дугами «макдоналдсов», этот полет – своего рода бегство, своего рода падение и парение... Когда, кружась, покидаешь оковы земного притяжения, уходишь за солнце, несешься через бескрайний и безмолвный космос, где нет бремени и каждая вещь или мысль не весит ровным счетом ничего...

«Я свалил! – кричали они. – Простите, но меня уже нет!» И по ночам, не во сне, но и не наяву, они предавались легкости, позволяя грезам себя нести.

¹¹ Простите! (вьетн.)

На следующее утро после того, как погиб Тед Лейвендер, старший лейтенант Джимми Кросс сидел в своем окопе и жег письма Марты. Потом он сжег обе фотографии. Шел дождь, поэтому задача была непростая. Но он пустил в ход «сухой спирт» и растопку, чтобы разжечь небольшой костерок. Прикрывая его от капель и ветра собственным телом, он кончиками пальцев держал фотографии над слабым голубым язычком пламени.

Он сознавал, что это лишь жест. «Глупо, — думал он. — Сентиментально, конечно, но по большей части просто глупо».

Лейвендер мертв. Невозможно сжечь вину.

Кроме того, письма были у него в голове. И даже сейчас, без фотографий, лейтенант Кросс видел, как Марта играет в волейбол в белых спортивных шортах и желтой футболке. Он видел, как она движется под дождем.

Когда костерок погас, лейтенант Кросс натянул на плечи плащ-палатку и стал есть завтрак из консервной банки.

Нет никакой великой загадки, решил он.

В тех сожженных письмах Марта ни разу не заикнулась про войну, разве только писала, мол, береги себя, Джимми. Ей нет дела. Она подписывала письма «с любовью», но это была не любовь, и все красивые слова и строчки не имеют

значения. Девственность Марты тоже утратила былую значимость. Он ненавидел Марту. Да, ненавидел. И любил тоже, но это была трудная, переплетенная с ненавистью любовь.

Настал рассвет, мутный и сырой. Все казалось неотделимым одно от другого: туман, Марта, усиливающийся дождь.

В конце концов, он солдат.

С ухмылкой старший лейтенант Джимми Кросс достал карты. Он с силой встряхнул головой, словно чтобы ее прочистить, потом нагнулся и начал прокладывать сегодняшней маршрут. Через десять минут, может, через двадцать, он поднимет людей, и они соберутся и двинутся на запад, где, как показывали карты, местность зеленая и приветливая. Они сделают то, что делали всегда. Дождевая влага, вероятно, добавит весу поклаже, но по сути это будет еще один день, такой же, как другие.

В этом он был реалистом. Ему стало намного тяжелее жить, он любил ее, но и ненавидел.

«Никаких больше фантазий!» – сказал он себе.

С этого момента, думая про Марту, он будет напоминать себе, что она принадлежит иному миру. Он перечеркнет сны наяву. Здесь не Маунт-Себастиан, здесь другой мир, где нет красивых стихов и зачетов, здесь люди умирают из-за небрежности или откровенной глупости. Кайова был прав. Бух – упал, и ты мертв, и никто не бывает мертвым отчасти.

На краткий миг за пеленой дождя старший лейтенант увидел серые глаза Марты. Марта смотрела на него.

Он понял.

«Это очень грустно, — подумал он. — То, что люди носят в себе. То, что люди делали или считали, что должны сделать».

Он едва ей не кивнул, но все же удержался.

Вместо этого он вернулся к картам. Теперь он твердо решил выполнять свои обязанности досконально, не так, как раньше, не спустя рукава. Он понимал, что Лейвендеру это не поможет, но с этой минуты он будет вести себя как офицер. Он избавится от ее камешка на счастье. Может, проглотит, или зарядит им пращу Ли Странка, или просто выбросит. На марше он будет строго требовать полевой дисциплины. Он постарается следить, чтобы его взвод шел цепочкой, чтобы никто не отставал и не брел к другому впрытык, чтобы отряд двигался с положенными по ПДИ скоростью и интервалами. Он будет настаивать на чистке оружия. Он конфискует остатки травки Лейвендера. Возможно, под вечер он соберет людей и ясно выскажется. Он возьмет на себя вину за то, что случилось с Тедом Лейвендером. Он поступит по-мужски. Он посмотрит им в глаза, не опуская головы, и изложит новые установки спокойным, непререкаемым тоном, лейтенантским тоном, который не оставляет места для споров или дискуссий. Устав вступит в силу немедленно! Больше они не будут бросать по дороге лишние вещи. Они будут следить за собой. Складывать свое барахло аккуратно и держать в пределах досягаемости.

Он не потерпит расхлябанности. Он проявит силу и не

допустит панибратства.

Разумеется, люди будут ворчать и, вероятно, даже хуже того, ведь дни им покажутся длиннее, а ноша – тяжелее, но лейтенант Джимми Кросс напомнил себе, что его долг не быть любимым, а командовать. Он обойдется без любви, теперь любовь – не фактор. И если кто-то станет возражать или жаловаться, он просто подождет губы и расправит плечи, приняв положенную офицеру позу. Вероятно, коротко кивнет. Или нет. Не исключено, просто пожмет плечами и скажет: «Выполнять!» И они тогда взвалят на себя снаряжение, выстроятся цепочкой и двинутся к деревням к западу от Тхан Кхе.

Любовь

Через много лет после войны Джимми Кросс приехал проведать меня в Массачусетсе, и целый день мы пили кофе, курили и говорили обо всем, что видели и что делали так давно, обо всем, что мы все еще несем по жизни. На кухонном столе была разложена сотня, а то и больше фотографий. Тут были фотографии Крыса Кайли, Кайовы и Митчелла Сандерса, всех нас – лица невероятно светлые и юные. Помнится, в какой-то момент мы застыли над снимком Теда Лейвендера.

Некоторое время спустя Джимми потерял глаза и признался, что так и не простил себе его гибель.

– Такое не забывается, – тихонько добавил он, а я кивнул и сообщил, что некоторые события вызывают у меня похожее чувство.

Потом очень долго ни один из нас не находил, что сказать. Мы решили, что самое время забыть про кофе и переключиться на джин, который несколько поднял нам настроение, и довольно скоро мы уже хохотали, вспоминая безумства и глупости, которые тогда вытворяли. Над тем, как Генри Доббинс носил на шее колготки своей девушки как шарф. Над мокасинами и томагавком Кайовы. Над комиксами Крыса Кайли.

К полуночи мы оба порядком набрались, и я решил, что

не будет вреда спросить про Марту. Не помню точно, как именно я выразился, наверное, вопрос был самый общий, но Джимми посмотрел на меня удивленно.

— Ну и долгая же у вас, писателей, память, — хмыкнул он. Затем улыбнулся, извинился и поднялся в гостевую комнату, откуда вернулся с маленькой фотографией в рамке. Это был снимок с волейбольного матча: Марта наклонилась за мячом, руки вытянуты вперед.

— Помнишь этот снимок? — спросил он.

Я кивнул и сказал, мол, поражен. Я был уверен, что он его сжег.

Джимми все улыбался. Пару минут он глядел, не отрываясь, на фотографию, глаза у него были очень блестящими, а потом пожал плечами.

— Ну да... сжег. После смерти Лейвендера я просто не мог... Это новый. Марта сама мне его дала.

Они столкнулись на встрече выпускников колледжа в 1979-м. Ничего не изменилось. Он все еще ее любил. По его словам, они восемь или девять часов провели вместе. Был банкет, потом танцы, потом они пошли гулять и говорили про свою жизнь. Марта стала лютеранской миссионеркой. Диплом медсестры, хотя суть не в уходе за больными, и она уже успела поработать в Эфиопии, Гватемале и Мексике. Она сказала, что так и не вышла замуж и, вероятно, никогда не выйдет. Она понятия не имеет — почему. Но когда она это произносила, ее взгляд как будто скользнул в сторо-

ну, и ему пришло в голову, что кое-чего про нее он так и не узнает. Глаза у нее были серые и бесстрастные. Позже, когда он взял ее за руку, то не ощутил пожатия в ответ, а еще позже, когда он сказал, что все еще ее любит, она продолжала идти и ничего не ответила, но пять минут спустя глянула на часы и заметила, мол, уже поздно. Он проводил ее до спального корпуса. На миг он задумался, не пригласить ли ее к себе в комнату, но вместо этого рассмеялся и рассказал, как в колледже чуть не сделал нечто очень смелое. Заявил, что это было после того, как они посмотрели в кино «Бонни и Клайд», и что на этом самом месте он едва не подхватил ее на руки, чтобы унести наверх в комнату, привязать к кровати, положить руку ей на колено и просто просидеть так всю ночь. Он едва-едва этого не сделал – так он сказал Марте. Марта закрыла глаза. Она обхватила себя руками, точно озябла, а затем взглянула на него и призналась, дескать, рада, что он в тот момент сдержался. Она не понимает, как мужчины могут вытворять такое. Он поразился: какое? Марта же холодно обронила, мол, то, что делают мужчины. Тогда он кивнул. До него начало доходить: *то, что делают мужчины*. На следующее утро за завтраком она сказала, что ей очень жаль. Она объяснила, что ничего не может тут поделать, а он понимающе покивал. Она же улыбнулась и подарила ему снимок, и велела этот не сжигать.

Джимми покачал головой.

– Это не имеет значения, – вздохнул он. – Я все равно ее

люблю.

До самого его отъезда я старался уводить разговор от Марты, но, когда на прощанье провожал до машины, все-таки сказал, что мне хотелось бы написать про это рассказ. Джимми над этим задумался, потом улыбнулся уголком рта.

– Почему нет? – хмыкнул он. – Может, она прочтет его и прибежит ко мне. Надежда ведь всегда есть, да?

– Да, – согласился я.

Он сел в машину и опустил окно.

– Изобрази меня хорошим парнем, ладно? Смелым и красивым, и все такое. Лучшим на свете взводным. – Он на секунду помедлил. – И сделай мне одолжение. Не упоминай про...

– Нет, – сказал я, – не буду.

Точка зрения

Война – не сплошь ужас и насилие. Иногда она становилась очень трогательной. Например, я помню маленького мальчика с пластмассовой ногой. Помню, как он припрыгал к Эйзру и стал кланчить шоколадку.

– Эй, ты, номер один!¹² – воскликнул мальчишка.

Эйзр рассмеялся и отдал шоколад.

Когда мальчишка запрыгал прочь, Эйзр прищелкнул языком.

– Та еще сука война. – Он печально покачал головой. – Одна нога осталась, господи ты боже. У какого-то придурка, наверное, кончились патроны.

* * *

Помню, как Митчелл Сандерс тихонько сидел в тени старого баньяна. Ногтем большого пальца он методично выскребал из себя вшей и гнид, которых тщательно складывал в синий конверт ОООВСа. Глаза у него были усталые. Это было после двух долгих недель в джунглях. Через час или около того он запечатал конверт, написал в правом верхнем

¹² Этой фразой дружелюбно настроенные вьетнамцы часто приветствовали американских военных.

углу: «За счет получателя» – и адресовал своей призывной комиссии в Огайо.

Случалось, война походила на шарик в пинг-понге: закрути ее при подаче, и впечатление будет совсем иное.

* * *

Помню, как Норман Боукер и Генри Доббинс каждый вечер до темноты играли в шашки. Для них это было ритуалом. Они выкапывали положенные одиночные окопы, доставали доску и вели долгие, безмолвные баталии, пока небо меняло свой цвет с розового на пурпурный. Остальные, проходя мимо, иногда задерживались посмотреть. Было в их игре что-то расслабляющее, что-то упорядоченное и успокаивающее. Были красные шашки и черные шашки. Игровое поле было четко разбито на квадраты, никаких тебе туннелей, гор или джунглей. Ты знал, где стоишь. Ты знал счет. Фигуры были на доске, враг был виден, ты мог следить за тем, как тактика перерастает в стратегию. Были победитель и проигравший. Были правила.

* * *

Сейчас мне сорок три года, я писатель, и война давно позади. Большую ее часть я уже и не помню. Я сижу за пи-

шущей машинкой, и перед моим внутренним взором встают картины прошедшего: вот тонет в болоте Кайова, а вот разорвало на части Курта Лимона... Работая над каждым новым рассказом, я воссоздаю цепь событий... Кайова что-то говорит. Курт Лимон выходит из тени на яркий солнечный свет, лицо у него загорелое и лоснится, а потом он вдруг превращается в кровавое месиво, кишки свисают с ближайшего дерева... Плохое происходит снова и снова, и оно никогда не закончится, оно проигрывается до бесконечности...

Но не вся война была такой.

* * *

Порой Тед Лейвендер перебирал с наркотой.

– Как сегодня война? – спрашивал кто-нибудь, и Тед Лейвендер отвечал с мягкой, ошалелой улыбкой:

– Да так, брат, сочная. Вкусная у нас нынче война.

* * *

Как-то мы подрядили одного узкоглазого папашу провести нас через минные поля на полуостров Батанган.

Старик сильно хромал, был медлителен и скрючен, но знал, где безопасно, а где надо ступать осторожно, а где, даже если ступаешь осторожно, все равно можешь превратиться в

попкорн. Он умел чувствовать землю под ногами, как канатоходец чувствует веревку: ее поверхностное напряжение, то как она проседает или пружинит. Каждое утро мы выстраивались длинной цепочкой с узкоглазым папашей во главе и целый день шагали за ним след в след, играя в суровую и безжалостную игру «иди гуськом».

Крыс Кайли придумал дурацкий стишок, который привязался ко всему взводу, и мы распевали его хором:

Из строя ногой – пальцы долой!

За старым пнем пойдешь – впросак не попадешь!

Земля вокруг кишела «прыгающими Бетти» и «отрывателями пальцев», а еще разными минами-ловушками, но за те пять дней пути на полуостров Батанган никто не пострадал. Мы все полюбили старика.

Печальная вышла сцена, когда за нами прилетели вертолеты. Джимми Кросс обнял узкоглазого папашу. Митчелл Сандерс и Ли Странк нагрузили старика коробками с сухими пайками.

В глазах у старика стояли самые настоящие слезы.

– За старым пнем пойдешь, – говорил он по очереди каждому из нас, – впросак не попадешь.

* * *

На войне либо идешь с полной выкладкой, либо чего-то ждешь. Я помню монотонность. Копаешь окопы. Давишь москитов. Солнце и жара. И бесконечные рисовые поля. Даже в джунглях, где есть десяток способов умереть, война была откровенно скучна. Но это была странная скука. Эдакая закрученная скука. Такая скука, от которой случается расстройство кишечника. Вот ты сидишь на верхушке высокого холма, под тобой тянутся рисовые поля, день тих, жарок и бесконечно пуст, и чувствуешь, как скука сочится внутри тебя – точно капает из подтекающего крана, вот только капает не вода, а некая кислота, и с каждой капелькой ты ощущаешь, как кислота разъедает жизненно важные органы. Стараясь расслабиться. Разжимаешь кулаки и отпускаешь мысли. Ну вот, думаешь ты, всё не так страшно. И в этот самый момент слышишь за спиной автоматную очередь, и желудок у тебя подскакивает в горло, и ты визжишь как свинья. Такая вот скука.

* * *

Иногда я чувствую себя виноватым. Мне сорок три года, а я все еще пишу военные рассказы. Моя дочь Кэтлин гово-

рит, что это одержимость, что мне стоит писать про маленькую девочку, которая нашла миллион долларов и потратила их на шетлендского пони¹³. Наверное, она по-своему права: мне надо забыть. Но проблема с воспоминаниями в том, что не можешь забыть. Материал для рассказов писатель берет там, где находит, то есть из своей жизни, на перекрестке прошлого и настоящего. Словно память – поток машин, который вливается в «карусель» со съездами, вертится там какое-то время кругами, но потом включается воображение, и дорожный затор исчезает, растекается на тысячу разных улиц. Если ты писатель, то можешь лишь выбрать какую-нибудь улицу, и всё, поехали: записывай то, что к тебе приходит. Это истинная одержимость. Вот откуда рассказы.

* * *

...И это не обязательно кровавадные истории. Бывают и счастливые тоже, и даже иногда очень мирные...

* * *

Вот вам короткая мирная история.

Парень уходит в самоволку. Селится в какой-то халупе в

¹³ Шетлендский пони – один из самых маленьких представителей пони, сформировавшийся на Шетландских островах на севере нынешней Шотландии.

Дананге с медсестричкой из Красного Креста. Катается как сыр в масле, медсестричка любит его до смерти, короче, он получает, что хочет и когда хочет. Война окончена, думает он. Теперь сплошь обнимашки и новые позы. А потом вдруг объявляется на базе и просится в свой взвод, прямо-таки рвется в джунгли. Наконец, один приятель спрашивает его, что случилось с медсестричкой, почему он так жаждет битвы, а парень отвечает: «Этот мир так хорош, дружище, что просто больно. Хочу повредить его».

* * *

Помню, как улыбался Митчелл Сандерс, когда рассказывал мне об этом. Меня тогда как обухом по голове ударило. Потому что всё относительно. Вот ты залег на каком-то богом забытом рисовом поле, ждешь, когда твою задницу перебросит на тот свет, а потом вдруг на несколько секунд воцаряется тишина, ты поднимаешь голову и видишь солнце и несколько кучерявых белых облачков, и тебя обжигает бесконечной безмятежностью: весь мир вокруг обретает новые очертания, и, даже пришпиленный войной, ты никогда не испытывал подобного покоя.

* * *

...В памяти чаще всего застревают странные мелкие обрывки, у которых нет ни начала, ни конца...

* * *

Однажды ночью Норман Боукер, лежа на спине, глядя на звезды, вдруг прошептал мне:

– Вот что я тебе скажу, О’Брайен. Будь у меня одно-единственное желание, я бы пожелал, чтобы отец написал мне письмо, а в нем сказал, мол, не страшно, если я не получу медалей. Мой старик только про них и талдычит. Про то, как ждет не дождется, когда увидит мои чертовы медали.

* * *

В один из дней Кайова взялся учить Танцу Дождя Крыса Кайли и Дэйва Дженсена, и вся троица улюлюкала и прыгала босиком, а группка вьетнамских крестьян смотрела на них со смесью интереса и страха. После Крыс спросил:

– Ну и где дождь?

А Кайова ответил:

– Земля – штука медленная, но бизон терпелив.

Крыс задумался, а потом сказал:
– Ну да, понятно, но дождь-то где?

* * *

Я не забыл, как Тед Лейвендер приручил осиротевшего щенка – кормил его с пластиковой ложки и носил с собой в рюкзаке до тех пор, пока Эйзр не привязал щенка к противопехотной мине и не нажал на детонатор.

* * *

Средний возраст в нашем взводе, кажется, был девятнадцать или двадцать лет, и, соответственно, события зачастую приобретали налет эдакой игривости – как спортивное состязание в какой-нибудь экзотичной исправительной школе. Состязание могло обернуться смертью, но во всем происходящем чувствовался детский восторг, была уйма розыгрышей и дуракаваляния. Как когда Эйзр подорвал щенка Теда Лейвендера.

– И с чего вдруг все так разнюнились? – сказал Эйзр. – Господи, да я же просто мальчишка.

И такое я тоже помню...

Сырой, грибной запах пустого мешка для трупов.

Серп луны, встающий ночью над рисовыми полями.

Генри Доббинс сидит в сумерках, пришивает свои новые сержантские нашивки и тихонько напевает:

– Тик-так, тик-так, желто-зеленая корзинка...

Поле слоновьей травы, прибитой ветром, вызванным вихрем от лопастей вертолета, трава темная и покорная, клонится низко, но после выпрямляется снова, едва вертолет отлетит.

Красная глинистая тропа у деревни Ми Кхе.

Ручная граната.

Худощавый, мертвый, изящный молодой человек лет двадцати.

Кайова сказал:

– Да ладно тебе, Тим. Что еще ты мог сделать?

Кайова сказал:

– Верно?

Кайова сказал:

– Давай, говори.



Мне сорок три года, и война случилась полжизни назад, но я до сих пор вспоминаю о ней, проживаю ее опять и опять. Иногда воспоминание выливается в рассказ, который фиксирует его навсегда. Впрочем, для этого-то и существуют рассказы. Истории и рассказы нужны для того, чтобы соединять прошлое с будущим. Рассказы – для тех полночных часов, когда не можешь вспомнить, как попал из того места, где был, в то место, где находишься сейчас. Рассказы – для вечности, когда память стерлась, но остались записи...

На Рейни-Ривер

Вот эту единственную историю я никогда раньше не рассказывал. Никому. Ни моим родителям, ни брату с сестрой, ни даже жене. Я всегда думал, что, если заговорю о подобном, это для всех обернется неловкостью, всем внезапно захочется очутиться где-то в другом месте – это же естественная реакция на признание в сокровенном. Даже сейчас от этой истории мне хочется поежиться. Больше двадцати лет я жил с ней, испытывая стыд, мечтая избавиться от него, и самым актом воспоминания, переноса фактов на бумагу я надеюсь хотя бы немного облегчить свою совесть.

Да, поведать эту историю непросто. Наверное, всем нам хочется думать, что в критической ситуации мы поведем себя как герои нашей юности, смело и честно, без мыслей о личных потерях или позоре. Безусловно, таково было мое убеждение в то лето 1968 года. Тим О'Брайен – тайный герой! Одинокий Рейнджер! Если когда-нибудь ставки станут слишком высоки, если зло будет достаточно злым, а добро – достаточно добрым, я просто зачерпну из секретного резервуара мужества, которое годами копилось во мне. Мужество, думал я, бывает в измеримых количествах, как наследство, например, и если скаредничать, копить его, давать нарастать процентам, мы неуклонно приумножаем наш нравственный капитал в преддверии того дня, когда придется платить по

счета.

Это была утешительная теория. Она избавляла от всех тех неловких проявлений повседневного мужества. Она несла надежду и веру в себя человеку, который раз за разом трусил. Она оправдывала прошлое, идеализируя будущее.

В июне 1968 года, за месяц до окончания колледжа Макалестер, я получил повестку на войну, которую ненавидел. Мне был двадцать один год. Да, я был молод и политически наивен, и все равно американская война во Вьетнаме казалась мне неправой. По неким непонятным причинам проливалась кровь вполне конкретных людей. Я не видел ни единства по части целей, ни общего согласия в вопросах философии, истории или законодательства. Сами факты были расплывчаты. Это гражданская война? Это национально-освободительная война или просто агрессия? Кто ее развязал и почему? Что на самом деле случилось с американским эсминцем «Мэддокс» той темной ночью в Тонкинском заливе? Хо Ши Мин – это марионетка коммунистов, спаситель нации или оба разом, или ни тот и ни другой? А как же Женевские соглашения? Как же Организация Договора Юго-Восточной Азии и холодная война? Америка раскололась в спорах по этим и тысячам других вопросов, и дебаты выплеснулись из кулуаров сената Соединенных Штатов на улицы, и умники в полосатых костюмах спорили о них. Единственное, что было общее для всех тем летом, – это растерянность.

Мое же мнение было тогда таким: нельзя воевать, не зная,

почему или зачем. Кстати, сейчас я считаю так же. Разумеется, знание не бывает полным, однако, на мой взгляд, солдаты должны верить в то, что сражаются за правое дело. Ошибки тут нельзя исправить. Если люди умирают, их уже не оживить.

Так или иначе, таковы были мои убеждения, и в колледже я всячески противостоял войне. Нет, я не делал ничего радикального, просто обошел несколько домов, агитируя за Юджина Маккарти¹⁴, и написал пару скучных, пресных статей для студенческой газеты. Исключительно интеллектуальная деятельность, не более того. Конечно, я вкладывал в нее какие-то силы, но не особо много. В конце концов, мне же ничего не угрожало, я не испытывал ощущения надвигающейся опасности. Я наивно полагал, что все эти кровавые сражения никак меня не затронут.

Повестка пришла 17 июня 1968 года. День стоял жаркий, облачный и очень тихий, и я только что вернулся с игры в гольф. Отец с матерью ели на кухне ленч. Помню, как вскрыл письмо, пробежал глазами первые несколько строчек и вздрогнул от ужаса. В голове у меня зашумело. Нет, я ни о чем тогда не думал, просто мысленно взвыл. Я полагал, что слишком хорош для войны. Слишком умный, слишком полный сочувствия, слишком вообще все. Такого не могло

¹⁴ Юджин Маккарти – американский политик и сенатор США, лидер леволиберального крыла демократической партии, активный противник вьетнамской войны.

произойти! Я выше этого! У меня же все отлично! Мое будущее расписано: диплом с отличием, президентство в студенческом обществе и грант на учебу в Гарварде. Может, тут какая-то ошибка, путаница в бумагах? Я не солдат. Я же ненавижу бойскаутов. Я же ненавижу спать под открытым небом. Я же ненавижу грязь, пыль, палатки и москитов. От вида крови меня подташнивает, и я не переношу приказов и не могу отличить винтовки от рогатки. Господи, да я же *либерал*! Если им нужно свежее пушечное мясо, почему не призвать какого-нибудь замшелого «ястреба»¹⁵? Или тупого ура-патриота в кепке со значком «Разбомбим Ханой», или какую-нибудь из хорошеньких дочек Линдона Бейнса Джонсона¹⁶, или всю расчудесную семейку Уэстморлендов¹⁷ скопом, включая племянников и племянниц и внука-младенца. Должен же быть *закон*, думал я. Если ты за войну, если считаешь, что она того стоит, то ладно, но тогда ты обязан рискнуть своей жизнью: пойти на фронт, вступить в пехоту и сам проливать кровь. И было бы неплохо, если бы ты захватил с собой на войну свою жену, или детей, или любовницу. Я полагал, что нужен *закон*!

Помню ярость, жгущую мне нутро. Позже она перегорела

¹⁵ «Ястреб» – сторонник жестких мер по отношению к другим государствам, организациям или правительствам с целью улучшения положения своей страны.

¹⁶ Линдон Бейнс Джонсон – американский президент (1963–1969), на президентский срок которого пришлось начало войны во Вьетнаме.

¹⁷ Генерал Уильям Чайлдз Уэстморленд командовал силами США во Вьетнаме с 1964 по 1968 г.

до тлеющей жалости к себе, потом до онемения. Тем вечером за обедом отец спросил, какие у меня планы.

– Никаких, – ответил я. – Буду ждать.

* * *

Лето 1968 года я провел, работая на консервном заводе в моем родном городке Уортингтоне в Миннесоте. Завод специализировался на свиной тушенке, и по восемь часов в день я стоял у сборочной – или уж скорее разборочной – линии конвейера, длиной в четверть мили, выковыривая сгустки крови из шей мертвых свиней. По сути, я занимался *упорядочиванием*.

После забоя туши обезглавливали, резали вдоль живота, вскрывали, извлекали кишки и подвешивали за задние ноги к высокой ленте над конвейером. Потом в дело вступала гравитация. К тому времени, когда туша достигала моего места, жижа по большей части стекала, за исключением плотных сгустков крови в шее и в верхней части грудины. Чтобы извлечь их, я орудовал своего рода водяной «пушкой». Приспособление было тяжелое, фунтов восемьдесят весом, и свисало с потолка на толстом резиновом шнуре. Шнур немного пружинил, сама «пушка» подпрыгивала вверх-вниз, и фокус был в том, чтобы, маневрируя устройством, налегать на «пушку» всем телом – не поднимать руками, а просто дать резиновому шнуру сделать всю работу. На одном кон-

це имелся спусковой крючок, со стороны дула – насадка и вращающаяся стальная щетка. Пока туша плыла мимо, надо было податься вперед, привести «пушку» на сгустки крови и нажать на курок – все одним движением, – тогда щетка начинала гудеть, вылетала струя воды и слышался всплеск, с которым исчезали сгустки, превращаясь в красную дымку. Не самая приятная работа. Требовались рукавицы и резиновый фартук, но все равно ощущение было такое, словно по восемь часов в день стоишь под теплым кровавым дождем.

По вечерам я приходил домой пропахший свиньями. Запах прилип ко мне намертво. Даже после горячей ванны, даже после того, как я долго скреб себя губкой, вонь оставалась – как старый бекон или сосиски, жирный свиной запах, который глубоко въелся мне в кожу и в волосы. Помню, среди прочего особенно тяжело было найти девушку, которая согласилась бы пойти со мной на свиданье. Я чувствовал себя в изоляции, я много времени проводил один. И еще та повестка, припрятанная у меня в бумажнике...

Порой я брал отцовскую машину и бесцельно колесил по городу, исполненный жалости к себе, думая про войну, консервный завод и про то, как меня непроизвольно тянет в сторону бойни. Я ощущал себя беспомощным. Будто пространство вариантов вокруг меня съеживалось, будто я несея по огромному черному туннелю, будто весь мир сжимался... Не было счастливого исхода. Правительство отменило отсрочки для студентов, список ожидания в национальную гвардию

и войска запаса был невероятно длинным, здоровье у меня отличное, и под отказника я никак не подхожу: никаких религиозных убеждений, никакой пацифистской активности в прошлом. Более того, я не мог утверждать, что из принципа против войны. Я считал, что бывают времена, когда страна может с полным правом применять военную силу для достижения своих целей, например, чтобы остановить Гитлера или схожее зло, и я говорил себе, что в таких обстоятельствах с готовностью пойду в бой. Но проблема заключалась в том, что призывная комиссия не позволяет самому выбирать себе войну.

За всем этим или в самом центре оставался простой ужасный факт. Я не хотел умирать. Никогда. И уж точно не тогда, не там, не на несправедливой войне. Колеся по Мейн-стрит, мимо здания суда и магазинчика Бена Франклина, я чувствовал, как страх разрастается во мне, точно сорняки. Я воображал себя мертвым. Я воображал, как делаю то, что не могу делать: иду в атаку на позиции врага, целюсь в другого человека.

В какой-то момент в середине июля я серьезно стал подумывать о Канаде. Граница была в каких-то паре сотен миль к северу – восемь часов езды. И совесть, и интуиция подсказывали рвануть туда, просто вскочить и бежать со всех ног и не останавливаться. Поначалу идея казалась абстрактной, слово «Канада» просто вырисовывалось у меня в голове, но некоторое время спустя стали проступать конкретные кар-

тинки и образы, жалкие детали моего собственного будущего: гостиничный номер в Виннипеге, старый чемодан, глаза отца, когда я буду пытаться объяснить по телефону. Я почти слышал его голос... и голос матери. Беги, думал я, хотя нет, это невозможно... И все же: *беги!*

Это была нравственная дилемма. Я никак не мог решить-ся. Я боялся войны, но и жить на чужбине я тоже не желал. Я боялся повернуться спиной к собственной жизни, друзьям и семье, всей моей истории, всему, что было мне дорого. Я боялся утратить уважение родителей. Я боялся закона. Я боялся насмешек и осуждения. Городок, в котором я родился и вырос, был консервативным местечком среди прерий, где с традициями считались, и нетрудно было представить, как люди сидят за столиком в кафе старого Гобблера на Мейн-стрит с чашками кофе и разговор медленно переходит на сы-нишку О'Брайенов и на то, как чертов сосунок свалил в Канаду.

По ночам, не в силах заснуть, я часто вел жаркие споры с этими людьми. Я кричал на них, говорил, как презираю их слепое, бездумное согласие с происходящим, их недалекий патриотизм, их полное гордости невежество, их банальности про любовь к своей стране, то, как они отправляют меня на войну, которой не понимают и не желают понимать. Я возлагал на них ответственность и вину. Боже ты мой, я действительно так считал. Все они – все до единого! – были в ответе, все эти парни в бейсболках, торговцы и фермеры, бла-

гочестивые прихожане, болтливые домохозяйки, школьные родительские комитеты, клубы «Лайонс» и «Ветеранов иностранных войн» и выпендрежники из кантри-клуба. Им что последний вьетнамский император Бао-дай-де, что человек на Луне. Они не знают истории. Они ничегошеньки не знают про тиранию Нго Динь Зьема или природу вьетнамского национализма, или долгого колониализма французов – всё это им чересчур сложно (надо ведь книжки читать!), однако неважно, это ведь война, чтобы остановить коммунистов, просто и ясно, вот как они предпочитают видеть жизнь, а ты – слюнтяй-предатель, если не хочешь убивать или умирать по вполне очевидным причинам.

Конечно, меня переполняла горечь. Но было и нечто большее. Эмоции переходили от возмущения к ужасу, к недоумению, вине и тоске и снова к гневу. Я чувствовал себя больным. По-настоящему больным.

Многое из этого я уже рассказывал, во всяком случае, вскользь или намеками, но полной правды не говорил никогда. Как я сломался. Как однажды на работе, когда я стоял у конвейера, у меня в груди вдруг что-то лопнуло. Не знаю, что это было. И никогда не узнаю. Но это было реально, без сомнения, это был физический разрыв – ощущение треска, вспарывания, протечки. Помню, что уронил водяную «пушку», быстро снял фартук, ушел с завода и поехал домой.

Было позднее утро, и дома я никого не застал. Боль не проходила. Мне чудилось, будто у меня из груди что-то

вытекает, что-то очень важное... Я был перемазан кровью и вонял свининой. Стараясь не разрыдаться, я принял горячий душ, собрал чемодан и отнес его на кухню. Затем постоял, внимательно рассматривая знакомую обстановку. Старый хромированный тостер, телефон, белая с розовым пластмасса кухонных поверхностей. Кухню заливал солнечный свет. Все мерцало и блестело. Мой дом, думал я. Моя жизнь.

Сложно сказать, сколько я там стоял, но потом накосячил короткую записку родителям. Уже забыл, что в ней говорилось. Какие-то общие слова. «Уезжаю, позвоню, люблю, Тим».

* * *

Я ехал на север.

Я плохо помню этот эпизод своей жизни. В памяти сохранилось лишь отчетливое ощущение скорости и руля, в который я вцепился руками. Меня переполнял адреналин. Пожалуй, я испытывал своего рода эйфорию, вот только к ней примешивалась нереальная острота невозможности происходящего – точно бежишь по лабиринту, из которого не выбраться, счастливого исхода быть не может, но я все равно гнал вперед, потому что ничего иного в голову мне не шло. Это было чистой воды бегство, стремительное и бездумное. Плана у меня не было. Просто вылететь на большой скоро-

сти на границу, прорваться и бежать все дальше и дальше.

Незадолго до сумерек я миновал Бемиджи, потом повернул на северо-восток к Интернешенал-Фолс. Спал я той ночью в машине, припарковавшись позади закрытой бензоколонки в полумиле от границы. Утром, заправившись, я двинулся прямо на запад вдоль реки Рейни-Ривер, которая отделяет Миннесоту от Канады и которая для меня отделяла одну жизнь от другой. Места там в основном пустынные и малонаселенные. Изредка я проезжал мотель или лавку, где торговали рыболовной снастью, но в остальном кругом простирались леса. Сосны, березы и сумах. Хотя еще стоял август, в воздухе уже пахло октябрем, футбольным сезоном, горами желто-красных листьев – чистый и звонкий запах. Помню бескрайнее голубое небо. Справа от меня бежала Рейни-Ривер, местами широкая, как озеро, а за Рейни-Ривер ждала Канада.

Сначала я ехал безо всякой цели, потом начал искать место, где бы залечь на день или два. Я был измотан и напуган до тошноты. К полудню наткнулся на старую гостиницу для рыбаков под названием «Хижина Тип-Топ». На самом деле никакой хижины там не было, а было восемь или десять крошечных желтых домиков, сгрудившихся на небольшом мысу, выдававшемся на север в Рейни-Ривер. Гостиница пребывала в жалком состоянии. Тут имелись шаткие деревянные мостки и старый садок для мелкой рыбы, а еще покосившийся домик из промасленного брезента у самого

берега. Главное строение, стоявшее среди сосен на взгорке, как будто кренилось на сторону, точно калека, – крыша со стороны Канады просела. Я было подумал, а не развернуться ли, просто сдаться, но все же вылез из машины и подошел к крыльцу.

Человек, открывший мне дверь, является героем всей моей жизни. Как бы это сказать, чтобы не прозвучало слащаво?.. Ну, давай же... Старик меня спас. Он дал мне ровно то, что мне было нужно, без вопросов, вообще без слов. Он меня впустил. Он был рядом в критический момент – безмолвный, внимательный наблюдатель. Шесть дней спустя, когда все кончилось, я не смог найти способа его отблагодарить, до сих пор не могу, и эта история – запоздавшая на двадцать лет попытка сказать ему спасибо.

Даже два десятилетия спустя я могу, закрыв глаза, вернуться на крыльцо «Хижины Тип-Топ». Вижу, как в мое лицо всматривается тот старик. Элрой Бердал, восемьдесят один год, худой, скрюченный и почти лысый. На нем была фланелевая рубаша и коричневые рабочие штаны. В одной руке он держал зеленое яблоко, а в другой – ножик. Глаза у него были голубовато-серого цвета, как бритвенное лезвие, и такие же блестящие, и пока он в меня всматривался, я испытал странное ощущение – точно его взгляд меня вспорол. Разумеется, отчасти тут сыграло роль мое собственное чувство вины, но я все-таки убежден, что старику хватило одного взгляда, чтобы добраться до правды: парнишка попал

в беду.

Когда я попросил комнату, Элрой только поцокал языком. Кивнув, он повел меня к одному из домиков и уронил мне в ладонь ключ. Помню, как я ему улыбнулся. А еще помню, что пожалел об этом. Старик покачал головой, словно говоря, мол, не стоило трудиться.

– Обед в половину шестого, – сказал он. – Рыбу ешь?

– Что угодно, – ответил я.

– А то, – хмыкнул Элрой.

* * *

Мы шесть дней провели вместе в «Хижине Тип-Топа». Только мы двое. Туристический сезон закончился, лодок на реке не было, и окрестные леса будто погрузились в великую извечную тишину.

Мы с Элроем Бердалом почти всегда ели вместе. Утром мы ходили прогуляться по лесу, вечерами играли в «Скр-эббл»¹⁸, слушали пластинки или читали перед его большим каменным камином. Временами я чувствовал себя неловко, как ворвавшийся чужак, но Элрой пустил меня в свою тихую обыденность без суеты или церемоний. Он воспринимал мое присутствие как должное, точно так же, как приютил бы без-

¹⁸ Настольная игра, в которой от двух до четырех играющих соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов.

домную кошку – без лишнего оханья или жалости, – и про это тоже мы никогда не говорили. Как раз напротив. Яснее всего я помню намеренное, почти яростное молчание старика. За все те дни, за все те часы он ни разу не задал очевидных вопросов. Зачем я тут? Почему один? По какой причине так задумчив? Если Элроя что-то и интересовало, он старался не облекать свое любопытство в слова.

Впрочем, наверняка он и так догадывался. На дворе ведь был 1968 год, и по всей стране пацаны жгли повестки, и на лодке до Канады было рукой подать. Элрой Бердал не был тупой деревенщиной. Помню, его спальня была завалена книгами и газетами. Он обыгрывал меня в «Скрэббл» без малейших усилий, а в тех случаях, когда нужно было что-то сказать, он предпочитал изъясняться как можно короче.

Как-то на закате он указал на сову, кружившую над подсвеченным лиловым лесом к западу.

– Эй, О’Брайен. Вон там Иисус.

Старик был проницательным, от него мало что укрывалось. Он умел заглядывать в душу. Время от времени он ловил меня на том, как я всматриваюсь в реку, в дальний ее берег, и я почти слышал, как тумблеры щелкают у него в голове. Возможно, я ошибаюсь, но это вряд ли. В одном он не сомневался – в том, что я в отчаянии. И он знал, что я не могу об этом говорить. Одно неверное слово (или даже верное слово) – и я бы скрылся. Я был на взводе. Собственная кожа казалась мне слишком натянутой.

Как-то вечером после ужина меня стошнило, я пошел к себе в домик, полежал немного, и меня вырвало снова. А однажды днем меня прошиб пот. Дни напролет у меня голова кружилась от тоски. Я не мог спать, не мог даже лежать спокойно. По ночам я ворочался в кровати, размышляя о том, как прокрадусь на берег и потихоньку столкну какую-нибудь лодку старика в реку и погребу в сторону Канады. Случалось, я думал, что совсем сбрендил. Я не мог отличить, где верх, где низ... я лежал во мраке, и в голове у меня крутилось абсурдное кино... Вот за мной гонится пограничный патруль – вертолеты, прожектора и лающие собаки. Вот я ломлюсь через лес, вот я падаю на четвереньки, какие-то люди выкрикивают мое имя, и власти предержащие надвигаются со всех сторон – призывная комиссия моего городка, ФБР и канадская конная полиция...

Все это казалось безумным и невозможным. Мне двадцать один год. Обычный парнишка с обычными мечтами и амбициями, я хотел только жить жизнью, для которой родился, традиционной жизнью, я любил бейсбол, гамбургеры и вишневую колу, – а теперь я на грани бегства из страны, собираюсь навеки покинуть родину, и это мнилось таким гротескным, ужасным и печальным.

Черт его знает, как я пережил эти шесть суток. Большую их часть я вообще не помню. Нередко после обеда я, чтобы убить время, помогал Элрою готовить гостиницу к зиме, подметал домики и затаскивал под навес лодки: простая ра-

бота, заставляющая напрягаться мускулы. Дни стояли прохладные и ясные, ночи – очень темные.

В один из дней старик показал мне, как колоть и складывать в поленницы дрова, и несколько часов мы просто молча работали позади его дома. В какой-то момент Элрой опустил топор и долго на меня смотрел, губы у него приоткрылись, точно с них вот-вот сорвется неприятный вопрос, но потом он тряхнул головой и вернулся к работе. Его умение владеть собой поражало. Он никогда не лез не в свое дело. Ни разу не поставил меня в ситуацию, когда мне пришлось бы лгать или отнекиваться. До какой-то степени, полагаю, его сдержанность была типичной для того уголка Миннесоты, где частную жизнь еще уважали, и даже если бы я расхаживал с каким-нибудь жутким уродством – четырьмя руками или тремя головами, уверен, старик говорил бы о чем угодно, кроме этих лишних рук и голов. Отчасти это была простая вежливость. Но, полагаю, и нечто большее: старик понимал, что слов недостаточно. Проблема вышла за рамки обсуждений.

В то долгое лето я раз за разом перебирал различные доводы, всевозможные «за» и «против», и вопрос уже нельзя было решить лишь при помощи логики и здравого смысла. Разум натолкнулся на эмоции. Моя совесть приказывала мне бежать, но какая-то иррациональная мощная сила противилась и, давя огромным грузом, толкала меня к войне. Как это ни глупо, все сводилось к стыду. К жаркому, глупому сты-

ду. Я не хотел, чтобы обо мне думали плохо. Мои родители, мой брат и сестра, даже люди в кафешке Гобблера. Мне было стыдно, что я в «Хижине Тип-Топа». Я стыдился сам себя, стыдился того, что поступаю, по моему мнению, правильно.

Элрой, конечно, понял, что со мной творится. Он же видел, как я мучаюсь.

Хотя старик никогда об этом не заговаривал, был один случай, когда он вплотную подошел к тому, чтобы вытащить проблему на свет. Дело было ранним вечером, мы как раз закончили ужинать, и за кофе с десертом я спросил у него про счет, сколько я на данный момент должен за постой. Старик долго щурился на скатерть.

– Ну, стандартной платой было бы пятьдесят баксов за ночь, – сказал он. – Не считая кормежки. Получается четыре ночи, так?

Я кивнул. В бумажнике у меня лежало триста двадцать долларов.

Элрой рассматривал скатерть.

– Но это ставка в разгар сезона. По справедливости надо было бы чуток сбавить. – Он откинулся на спинку стула. – Какая сумма была бы, по-твоему, разумной?

– Не знаю, – отозвался я. – Сорок?

– Сорок – это хорошо. Сорок за ночь. Прибавим еду. Скажем, еще сотню? Всего двести шестьдесят?

– Наверное.

– Слишком много? – нахмурился он.

– Нет, это по-честному. Все нормально. Но завтра... Думаю, завтра мне лучше двигаться дальше.

Пожав плечами, Элрой начал убирать со стола. Минут пять он возился с тарелками, что-то насвистывая себе под нос, точно тема исчерпана. Но потом вдруг хлопнул в ладоши.

– Знаешь, что мы забыли? – сказал он. – Мы забыли оплату. Те простые работы. Нам вот что надо сделать, решить, сколько стоит твое время. На своей последней работе ты сколько в час получал?

– Слишком мало, – вздохнул я.

– Скверная работа была?

– Не то слово.

И тут, сначала медленно, не собираясь вдаваться в подробности, я рассказал про мои дни на консервном заводе. Началось с перечисления фактов, но не успел я осечься, как уже говорил про сгустки крови и водяную «пушку» и про то, как запах въелся мне в кожу и как я не мог его смыть. Болтал я довольно долго. Я поведал, как в моих снах визжат хряки, про звуки бойни и про то, как я порой просыпаюсь от вони свинины, идущей от меня самого.

Когда я закончил, Элрой кивнул.

– Признаться, – сказал он, – когда ты только-только тут появился, я разное думал. Я про вонь. Запах был такой, словно ты чертовски любишь свиные отбивные. – Старик улыбнулся. Шаркнув башмаком по половицам, он пододвинул к

себе карандаш и листок бумаги. – И сколько же платили за эту работенку? Десять баксов в час? Пятнадцать?

– Меньше.

Элрой покачал головой.

– Пусть будет пятнадцать. Ты тут на двадцать пять часов наработал. А это триста семьдесят пять баксов оплаты. Вычтем двести шестьдесят за кров и стол, и я все еще должен тебе сто пятнадцать.

Достав из кармана рубашки четыре банкноты по пятьдесят долларов каждая, он положил их на стол.

– Будем считать, что в расчете, – сказал он.

– Нет.

– Забирай. Пострижешься.

Деньги пролежали на столе до конца вечера. Они еще лежали там, когда я ушел в свой домик. Но наутро я нашел приклеенный скотчем к моей двери конверт. Внутри были четыре банкноты и записка из двух слов: «КРИЗИСНЫЙ ФОНД».

Старик знал.

* * *

Оглядываясь назад двадцать лет спустя, я иногда спрашиваю себя, не случились ли события того лета в каком-то ином измерении, месте, где твоя жизнь существует до того, как ты ее живешь, и куда она уходит после. Тогда всё было как-

то нереально. Во время моего пребывания в «Хижине Тип-Топа» меня не оставляло ощущение, что я выскользнул из собственного тела и парю в нескольких фунтах над ним, а несчастный попрыгунчик йо-йо с моим именем и лицом пытается проложить себе дорогу в будущее, которого не понимает и которого не хочет. Даже сегодня я вижу себя таким, каким был тогда. Это как смотреть старое домашнее видео... Вот я молод, подтянут и загорел. Я и не думаю лысеть, у меня густая шевелюра. Я не курю и не пью. На мне застиранные джинсы и белая рубашка. Вижу, как сижу однажды в сумерках на мостках Элроя Бердала: небо ярко-розовое, и я заканчиваю письмо родителям, в котором пишу о своем побеге, его причинах и о том, как мне жаль, что я так и не набрался смелости сказать им все в лицо. Я прошу их не сердиться. Я пытаюсь объяснить что-то из своих чувств, но слов недостаточно, и потому я говорю, что это просто надо сделать. Под конец письма я вспоминаю, как мы ездили в эти края в отпуск, про Уайтфиш-Лейк и как здешние леса напоминают мне те счастливые дни. Я пишу, что у меня все в порядке. Я обещаю написать еще из Виннипега, или Монреаля, или любого другого города, где окажусь.

* * *

В мой последний день в «Хижине» – это был шестой день – старик взял меня порыбачить на Рейни-Ривер. День выдал-

ся холодный и солнечный. С севера дул порывистый ветер. Четырнадцатифутовая лодочка сильно закачалась, когда мы отчалили от мостков. Течение было быстрое. Повсюду вокруг нас – бескрайние просторы, пустынные леса, деревья, небо и вода, бегущая в никуда. В воздухе витал хрупкий запах октября.

Десять или пятнадцать минут Элрой держал курс вверх по течению, бурная река перекачивалась волнами и казалась серебристо-серой, потом он повернул прямо на север и включил мотор на полную мощность. Я почувствовал, как под мной задирается нос. Помню ветер в ушах, шум старенького мотора. Полчаса я ни на что не обращал внимания, просто ощущал холодные брызги на лице. Но затем мне пришло в голову, что в какой-то момент мы пересекли границу и очутились в канадских водах, пересекли невидимую линию между двумя различными мирами, и, когда я поднял глаза и увидел, как приближается противоположный берег, мне вдруг сдавило грудь. Это был не сон наяву. Это было вполне реально. Когда берег стал ближе, Элрой выключил мотор, до песка оставалось ярдов двадцать. Старик не посмотрел на меня, не заговорил. Нагнувшись, он открыл ящик со снастями и стал возиться с поплавком и куском лески; не поднимая глаз, он что-то напевал себе под нос.

Тут мне пришло в голову, что он это нарочно. На все сто процентов я, конечно, утверждать не могу, но думается, он собирался ткнуть меня носом в действительность, перевезти

через реку и подвести к самому краю – и позволить, наконец, сделать выбор.

Я тогда бросил взор сперва на старика, потом на свои руки, затем на Канаду. Берег порос густым кустарником, за ним – непролазный бурелом. Я видел мелкие красные ягоды на ветках кустов. Видел белку высоко на березе, большую ворону, которая смотрела на меня с валуна у реки. На расстоянии каких-то двадцати ярдов, совсем близко, я мог разглядеть изящное переплетение веток в кронах, цвет почвы, жухлые иголки под соснами, конфигурации геологии и человеческой истории. Двадцать ярдов. Я сумел бы. У меня затряслись руки. Даже сейчас, когда я это пишу, я чувствую ту нервную дрожь. И я хочу, чтобы вы это почувствовали: ветер с реки, волны, тишина, лесистая граница. Вы на носу лодки посреди реки. Вам двадцать лет, вам страшно, и в груди у вас сжимается сердце.

Что бы вы сделали?

Прыгнули бы? Испытали бы жалость к себе? Думали бы о семье и о детстве, о мечтах и обо всем, что оставляете позади? Было бы вам больно? Было бы это сродни смерти? Вы бы плакали, как я?..

Я попытался взять себя в руки и улыбнуться, вот только я плакал.

Теперь вы, возможно, понимаете, почему я раньше никогда не рассказывал эту историю. Суть не только в неловкости слез. Нет сомнения, и они тоже играют свою роль, но дело

в параличе, сковавшем мою душу. Это было нравственное оцепенение: я не мог принять решение, не мог действовать, не мог вести себя достойно...

Я мог только плакать. Тихонько, без рыданий... всего лишь колет в груди...

На корме Элрой Бердал притворялся, что этого не замечает. Он держал в руках удочку, голову свесил на грудь, чтобы спрятать глаза. Он негромко мурлыкал монотонный мотивчик. С деревьев, с воды и с неба на меня обрушилась великая скорбь, давящее горе, горе, какого я никогда не знал раньше. И самое печальное, осознал я, заключалось в том, что Канада стала жалкой фантазией. Глупой и безнадежной. Она перестала быть шансом. Прямо там, когда берег был так близко, я уразумел, что не в силах сделать того, что следовало бы. Я не уплыву от моего городка, от моей страны и моей жизни. Я не буду дерзким. Старое представление о себе как о герое, как о человеке, наделенном совестью и мужеством, — все это не более чем мечта.

Покачиваясь на Рейни-Ривер, оглядываясь на берег Миннесоты, я ощутил, как на меня накатывает безнадежность, как я тону в ней, точно упал за борт и меня унесло серебряной волной. Мимо плыли, мелькали обрывки моей собственной истории. Я увидел семилетнего малыша в белой ковбойской шляпе и маске Одинокого Рейнджера, сжимающего в руках пару револьверов; я увидел двенадцатилетнего полузащитника Младшей Лиги, поворачивающегося отбить закру-

ченный двойной; я увидел шестнадцатилетнего юношу, нарядившегося на первые в своей жизни танцы, такого щеголеватого в белом смокинге и черном галстуке-бабочке, волосы коротко стрижены и уложены бриолином, ботинки начищены до блеска. Вся моя жизнь, всё, чем я когда-либо был или хотел быть, словно бы выплеснулось в реку и, кружа, унеслось от меня прочь.

Я не мог перевести дыхание, я не мог оставаться на плаву, я не мог определить, в какую сторону плыть. Наверное, это была галлюцинация, но она была такой же реальной, как всё, что я когда-либо чувствовал. Я увидел, как родители зовут меня с дальнего берега. Я увидел брата с сестрой, всех жителей моего городка, мэра и всю Торговую Палату, всех моих старых учителей и подружек, а также приятелей по старшим классам. Какой-то дурацкий спортивный матч: со всех сторон люди мне что-то кричат, подбадривая меня, – громкий стадионный рев. Хот-доги и попкорн. Стадионные запахи, стадионная жара. Чирлидерши кувыркались на берегу Рейни-Ривер; у них были мегафоны и помпоны, мелькали гладкие загорелые ноги. Толпа раскачивалась из стороны в сторону. Оркестр играл военные марши. Все мои тетки и дяди были там, и Абрахам Линкольн, и святой Георгий, и девятилетняя девочка по имени Линда, которая умерла от опухоли мозга в пятом классе, и несколько сенаторов Соединенных Штатов, и слепой поэт, корябающий свои вирши, и Лин-

дон Бейнс Джонсон, и Гек Финн и Эбби Хоффман¹⁹, и все те мертвые солдаты, восставшие из могилы, и многие тысячи, которые позднее умрут: крестьяне со страшными ожогами, детишки без рук или ног... Да, и Объединенный комитет начальников штабов тоже там был, и пара Пап Римских, и старший лейтенант по имени Джимми Кросс, и последний уцелевший ветеран Гражданской войны, и Джейн Фонда в костюме Барбареллы, и старик, распластавшийся у загона для свиней, и мой дед, и Гэри Купер²⁰

¹⁹ Эбби Хоффман – американский левый активист, основатель международной партии молодежи.

²⁰ Гэри Купер – американский актер, сыгравший в сотне фильмов, получивший два «Оскара» за лучшую мужскую роль и почетный «Оскар» за общий вклад в развитие американского кино.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.